ЛИДИЯ БАКУЛИНА

# ЛАТЕНТ

*роман*

*«Вы всё ещё думаете, что вас выбрал муж?»*

Лидия Бакулина

# Латент

«Автор»
2026

**Бакулина Л.**

Латент / Л. Бакулина — «Автор», 2026

Тонкое и необычное сочетание различных тем задаёт книге особую атмосферу психологической драмы, остросюжетного детектива и триллера. Основной акцент в книге сделан на том, как скелеты из прошлого и тайны близких людей могут в один момент разрушить благополучную реальность.Сюжет строится вокруг главной героини Александры Морозовой — реставратора графики и жены наследника крупной логистической империи. Её счастливая и размеренная жизнь переворачивается после гибели подруги детства, которая перед смертью успевает оставить Саше загадочную коробку с детскими анкетами, фотографиями и списком фамилий, где фигурирует и её собственный муж.Пытаясь разобраться в том, что скрывала подруга, Александра начинает собственное расследование. Ей приходится столкнуться с оборотной стороной жизни своей семьи — и выбирать между безопасностью и правдой.

© Бакулина Л., 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Глава 5
Пролог. За семью 6
Часть I. Совпадение 9
Глава первая. Утка с айвой 11
Глава вторая. Троекуровское 18
Глава третья. Коробка 24
Конец ознакомительного фрагмента. 31

# Лидия Бакулина
# Латент

## Глава

Лидия Бакулина
**ЛАТЕНТ**
*роман*

*Куда ты пойдёшь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом.*

— Книга Руфь, 1:16

*Латентный*(от лат. *latens*— скрытый, невидимый) — существующий, но внешне не проявляющийся.

# Пролог. За семью

*Сентябрь 2044 года*

К восьми часам стол раздвигают до последней доски. Так его раздвигали при Софье Львовне — на Рождество, на Пасху и в день рождения Сергея Андреевича, — и теперь, когда её нет уже четвёртый год, Миша всё равно лезет в кладовку за двумя дубовыми вставками, которые хранятся отдельно, завёрнутые в старую скатерть, как хранят вещь ценную и неудобную.

— Мам, где шпонки? — кричит он из темноты.

Шпонки лежат в верхнем ящике буфета, в жестяной коробке из-под чая, вместе с запасными свечами и гарантийными талонами на технику, которой давно нет. Я знаю, где в этом доме лежит каждая вещь. Иногда мне кажется, что это единственное, в чём я уверена до конца.

Дом в Раздорах мы так и не продали. Были годы, когда его хотели продать все, и я тоже, но всякий раз находилась причина подождать: Миша поступал, Алиса уезжала, у Семёна болела спина, у меня не было сил разбирать антресоли. Дом пережил эти разговоры. Сосны за террасой стали выше. Лиственничные доски потемнели и в дождь пахнут, как пахли в первую осень: смолой и мокрой собакой, хотя собаки у нас нет уже восемь лет.

Алиса прилетела из Женевы утром и до обеда спала в своей старой комнате, под плакатом, который не разрешает снимать. Сейчас она режет хлеб, как всегда слишком толсто, и рассказывает Ане про какого-то клиента, который требует, чтобы его называли по имени-отчеству даже в переписке. Аня смеётся. Аня вообще легко смеётся. Их с Мишей дочь, моя внучка, сидит на высоком стульчике и сосредоточенно возит по подносу варёную морковь. Ей два года, и зовут её Вера, в честь моей мамы. Это придумал Миша, я не просила. Я плохо умею просить; двадцать лет учусь и до сих пор не уверена, что научилась.

Семён открывает вино. Он делает это долго, с тем же лицом, с каким когда-то читал квартальную отчётность, будто пробка может оказаться не той, что заявлена. Ему пятьдесят шесть. Он поседел почти сразу, в один год, и теперь, когда стоит у окна против света, похож на своего отца сильнее, чем хотел бы.

— Сядь, — говорит он мне. — Ты третий раз переставляешь соль.

Я сажусь.

За столом нас шестеро, если считать Веру, и седьмой стул пустой — тот, что у торца, ближе к камину. На него никто не садится. Об этом не договаривались, так вышло, и я не стала ничего менять. На этом стуле тридцать лет сидел Сергей Андреевич, ещё в Николине, потом, недолго, Софья Львовна, а после стул так и остался стоять — с гобеленовой подушкой, продавленной по чужой фигуре.

Мы едим. Алиса спорит с отцом о какой-то новости, Семён отвечает ей коротко и с удовольствием, как отвечают человеку, которого любят и не боятся. Миша молчит, кормит дочь, изредка поднимает на меня глаза. У него взгляд деда: внимательный, тяжеловатый, будто он всё время что-то взвешивает. В детстве он был похож на отца. С годами в нём проступило то, что раньше было скрыто, — так проступает на старой бумаге водяной знак, когда поднимаешь лист к лампе.

Когда приносят утку, Миша встаёт. Он всегда встаёт, когда говорит тост, — тоже от деда.

— Я коротко, — говорит он. — Двадцать лет назад, мама, ты говорила, что в этом доме слишком много тостов и слишком мало разговоров.

— Я так говорила?

— Говорила. Поэтому я один раз. — Он поднимает бокал, и все поднимают за ним, даже Вера, у которой в кулаке зажата ложка. — За семью.

— За семью, — говорит Семён.

— За семью, — повторяет Алиса и смотрит на меня поверх бокала.

Я поднимаю свой.

На столе, рядом с моей тарелкой, вибрирует телефон. Экран загорается, и на нём нет имени — только номер, длинный, с незнакомым кодом. Двадцать лет назад я бы не ответила. Теперь я отвечаю всегда. Когда-то я пообещала себе, что не стану больше делать вид, будто меня нет, и с тех пор это обещание стоило мне множества бессмысленных разговоров с банками, социологами и людьми, которые хотели продать мне окна.

— Простите, — говорю я и встаю.

Семён приподнимает бровь. Я качаю головой: ничего, сейчас.

На террасе холодно и темно. Внизу, за соснами, река, которой не видно, но слышно, если не шевелиться. Я прикрываю за собой дверь локтем, и голоса в столовой сразу становятся неразборчивым гулом — так звучит любая семья, если слушать её снаружи.

— Да, — говорю я.

Несколько секунд в трубке ничего нет, только шум, будто человек на том конце стоит у открытого окна или на улице. Потом женский голос, молодой и хорошо поставленный, произносит моё имя, отчество и фамилию. Полностью. Так ко мне давно никто не обращается.

— Да, это я. Кто это?

Она не отвечает на вопрос. Она говорит, отчётливо разделяя слова, словно знает, что я буду потом повторять их про себя, и хочет, чтобы я запомнила точно.

— Вы всё ещё думаете, что вас выбрал муж?

Я стою на террасе с бокалом в одной руке и телефоном в другой. Вино я так и не выпила. За стеклом Алиса что-то говорит Ане, и Аня опять смеётся, запрокинув голову. Семён смотрит в мою сторону, но меня он, наверное, не видит: в столовой светло, а на террасе темно, и в окне ему видна только комната и он сам.

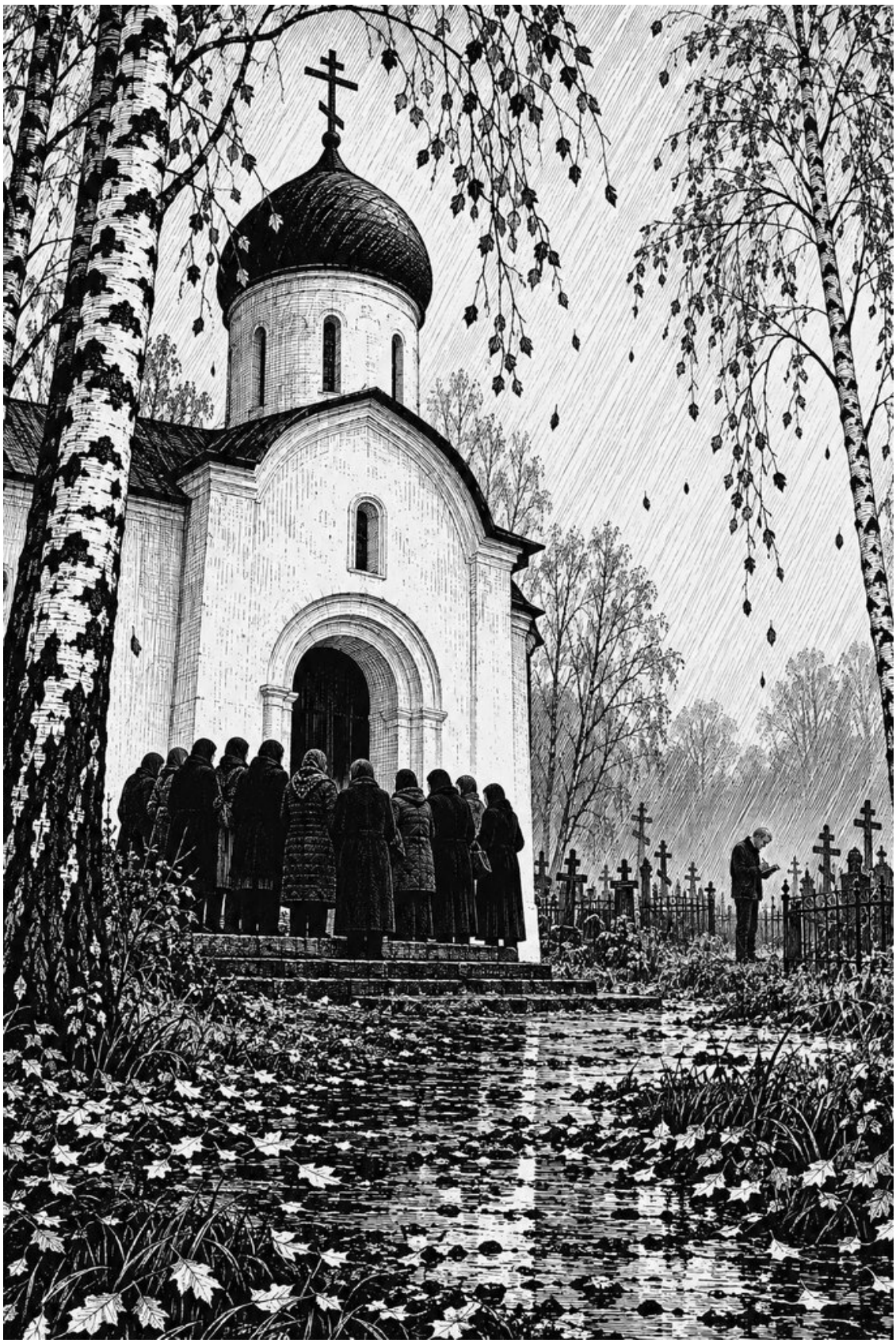
*Терраса*

Я открываю рот, чтобы ответить, и понимаю, что не знаю, какой из моих ответов правдивый.

В трубке короткие гудки.

*Двадцать лет назад*

# Часть I. Совпадение



*Часть I. Совпадение*

# Глава первая. Утка с айвой

В субботу вечером я выключала телефон. Это было единственное правило, которое я завела в нашем доме сама, без подсказок, и Семён над ним посмеивался, но соблюдал: с восьми вечера субботы до воскресного обеда в Раздорах не было ни писем, ни звонков, ни школьных чатов, ни сводок с терминалов. Если что-то случится, говорила я, нас найдут через охрану посёлка. За шесть лет через охрану нас так никто и не искал. Ничего не случалось.

В то воскресенье, двадцать девятого сентября, я проснулась в половине седьмого, как просыпалась всегда, без будильника, и какое-то время лежала, не открывая глаз, и слушала дом. Дом был деревянный, на высоком каменном цоколе, и по утрам он говорил: что-то потрескивало в перекрытиях, когда остывала за ночь лестница, гудела в подвале насосная станция, на кухне вздрагивал холодильник. Наверху, в детской, кто-то перевернулся на другой бок и стукнул пяткой о стену — Миша, он и во сне воюет с одеялом. Алиса спала тихо, как спят коты.

Семён лежал на спине с планшетом на груди. Он думал, что я сплю, и листал что-то с лицом мальчика перед витриной с моделью паровоза, которую ему всё равно не купят.

— Ты не спишь, — сказал он, не поворачиваясь.

— Не сплю.

— Тогда смотри. Только не говори сразу, что дорого.

Он повернул ко мне экран. На экране был дом — светлый, низкий, с плоской кровлей и длинной стеклянной галереей, которая соединяла два крыла, как перемычка соединяет две буквы. Вокруг дома архитектор нарисовал сосны, лужайку, тонких людей с собакой и почему-то двух лошадей.

— Лошади не входят, — сказал Семён. — Лошадей он нарисовал для настроения.

— Это тот участок у реки?

— Тот. Отец его отдал ещё весной, я тебе говорил. Я не хотел показывать, пока не будет нормального проекта. Это четвёртый вариант. Три я выбросил. — Он пролистал дальше: план первого этажа, второго, разрез. — Здесь будет мастерская. Смотри, северный свет, окна до пола. Ты сможешь работать дома, а не мотаться в Лаврушинский по пробкам. Здесь Мишина комната, здесь Алисина, а это, — он ткнул в маленький квадрат у галереи, — это моё. Я буду сидеть там и ничего не делать.

— Ты не умеешь ничего не делать.

— Научусь. У меня будет комната специально для этого.

Я взяла у него планшет и стала смотреть внимательно, как смотрю на лист, который принесли на реставрацию: сначала целиком, на расстоянии, потом по углам, потом против света. Дом был хороший. Архитектор понимал, что такое тишина, и не пытался её украсить. Но в плане было что-то, что меня беспокоило, и я не сразу поняла что.

— Он очень большой, Сём.

— Он нормальный. Это наш дом маленький.

Наш дом не был маленьким. Наш дом был как раз такого размера, чтобы в нём можно было потерять ребёнка на десять минут, и не больше. Я сказала это вслух, и Семён засмеялся.

— Там тоже нельзя будет никого потерять. Я поставлю датчики. — Он забрал у меня планшет и положил его на тумбочку экраном вниз. — И ещё. Отец хочет, чтобы дом был оформлен на тебя.

— На меня?

— На тебя. Земля, дом, всё. Он считает, что так правильнее. Если с компанией что-то случится, дом никто не тронет. Он всегда так делал. Дача в Юрмале тоже была на маме, пока её не продали.

— Не надо на меня, — сказала я.

— Почему?

Я не знала почему. Я знала только, что не хочу этого и что, если сейчас начну объяснять, получится, будто я набиваю себе цену и жду, чтобы меня уговаривали. Поэтому я сказала, что подумаю, и Семён, который хорошо меня знал, понял это как «да» и не стал спорить. Он ушёл в душ, а я смотрела в потолок, где по краю, у карниза, тянулась тонкая трещинка в краске, которую я уже два года собиралась кому-нибудь показать.

* * *

К обеду мы поехали в Николино.

Семён вёл сам. Водитель по воскресеньям отдыхал, а Семён любил водить и по дороге всегда становился разговорчивее, чем дома, будто руль давал его рукам занятие, а голове — разрешение. Миша сидел сзади с шахматной задачей в телефоне и бормотал ходы. Алиса потребовала платье с вишнями, потому что «у бабушки праздник», хотя никакого праздника у бабушки не было, и теперь, нарядная, в колготках, которые были ей велики, она смотрела в окно и пела без слов.

— Отец что-то задумал, — сказал Семён на мосту через Москву-реку.

— Почему ты так решил?

— Потому что утка с айвой. Мама делает утку с айвой, только когда отец просит. А отец просит утку, когда хочет что-нибудь объявить. Когда Кирюху ставили на порты — была утка. Когда продавали самарский терминал — утка. Когда я сказал, что женюсь, — он покосился на меня, — была курица. Это о чём-то говорит.

— Это говорит о том, что тебя тогда не очень серьёзно воспринимали.

— Меня и сейчас не очень серьёзно воспринимают. — Он сказал это легко, но пальцы на руле сжались и разжались. — Кирюха вчера звонил. Спрашивал, не знаю ли я, что будет за обедом. Я сказал, что не знаю. Он не поверил.

— А ты знаешь?

— Догадываюсь. Юристы на днях закончили аудит «Транс Логистикс». Если он скажет то, что я думаю, Кирюха будет есть утку молча. А потом позвонит мне вечером и будет говорить, что рад за меня. И это будет хуже всего.

За поворотом начинался сосновый лес, и асфальт становился таким гладким, что колёса переставали шуметь.

Дом Вейнов в Николине строил в девяносто восьмом году голландский архитектор, о котором Сергей Андреевич до сих пор говорил с уважением, как о хорошем хирурге. Тёмный клинкерный кирпич, высокая крыша, окна в мелкую расстекловку. Ничего лишнего. Внутри — дуб, сукно, книги, ковры, которые никто не называл персидскими, хотя они были персидские. В этом доме не было ни одной вещи, купленной для того, чтобы её заметили. Когда я впервые сюда попала, мне было двадцать три, и я подумала, что так, наверное, выглядит дом человека, который больше всего боится показаться смешным. Потом я узнала Сергея Андреевича лучше и поняла, что он не боялся ничего, кроме одного: что кто-нибудь когда-нибудь возьмёт у него то, что он сделал сам.

Софья Львовна встретила нас в холле. Она всегда встречала сама, даже когда в доме была прислуга, и всегда стояла одинаково: прямо, сложив руки, чуть наклонив голову, будто слушала, как настраивают рояль в соседней комнате.

— Алиса, — сказала она, — какое у тебя платье.

— С вишнями, — сказала Алиса.

— Я вижу, что с вишнями. Иди сюда, у тебя колготки съехали. Саша, они ей велики.

— Я знаю.

— Ты знаешь, и всё равно. — Она поправила Алисе колготки быстрыми, точными движениями пианистки, поцеловала её в макушку и только после этого подставила щёку мне. — Здравствуй. Ты бледная.

— Я всегда бледная, Софья Львовна.

— Не всегда. Летом ты была нормальная.

Это была её манера. В первые годы она меня пугала, потом злила, а потом я научилась переводить: за «ты бледная» стояло «я рада тебя видеть», а за «колготки велики» — «я думала о вас всю неделю». Семён так и не научился, и мне иногда казалось, что за тридцать шесть лет он не услышал от матери ни одного ласкового слова, хотя она говорила их ему постоянно.

Кирилл с Кристиной и детьми были уже в гостиной. Кирилл стоял у окна с телефоном и, увидев брата, кивнул ему коротко, как кивают коллеге в лифте. Кристина поцеловала меня в воздух возле уха и сказала, что я прекрасно выгляжу. У нас с ней давно сложились отношения людей, которые договорились ничего друг от друга не хотеть. Их мальчики, двенадцати и десяти лет, утащили Мишу наверх смотреть какую-то приставку. Алиса побежала за ними, её не взяли, и она села на ковёр у ног бабушки с видом оскорблённой королевы.

Ника пришла последней, с Лёвой на руках. Ника — дочь покойного Бориса Андреевича, старшего брата свёкра, и она всегда приходила последней, словно проверяла, ждут ли её. Её ждали. Сергей Андреевич относился к ней с осторожной, немного неловкой нежностью, с какой относятся к ребёнку человека, перед которым остались виноваты, хотя я никогда не знала, в чём именно. Ей было двадцать восемь, она сидела в совете директоров холдинга и, по словам Семёна, была там единственным человеком, который читает материалы заранее.

— Саша, — сказала она мне, — возьми его на минуту, у меня рука затекла.

Я взяла Лёву. Он был тяжёлый, тёплый и пах печеньем. Он внимательно посмотрел мне в лицо, решил, что я не опасна, и вцепился в мою цепочку. Под свитером у меня висел кулон — маленький серебряный листок клевера, четыре листа на одном стебле, — и Лёва вытащил его наружу и потянул в рот.

— Нельзя, — сказала Ника. — Лёва, нельзя, это тётино.

— Ничего, — сказала я и аккуратно разжала маленький кулак. — Он серебряный. Его можно.

Сергей Андреевич спустился ровно в два, и все пошли к столу.

* * *

Утка была с айвой.

Я видела, как Семён, отодвигая стул, встретился глазами с братом и как Кирилл первым отвёл взгляд. Софья Львовна раскладывала сама. Свёкор сидел во главе, в тёмно-синем свитере поверх рубашки, — тяжёлый, широкий, с коротко остриженной седой головой и неподвижным лицом. Он ел не торопясь, со вкусом. Он вообще всё делал со вкусом: ел, молчал, сердился. Семён однажды сказал, что отец — единственный человек на свете, который умеет молчать с интонацией.

Первые полчаса говорили о детях, о погоде, о соседе, который судился с посёлком из-за забора, о том, что Кристина снова хочет перестраивать кухню. Сергей Андреевич слушал, изредка вставлял слово. Миша, вернувшийся сверху, рассказывал деду про шахматный турнир, и дед задавал вопросы, которые ставили Мишу в тупик: «А почему ты не взял слона? А если бы взял?» — и Миша думал, морща лоб, совершенно серьёзно, словно от ответа что-то зависело. Я смотрела на них и думала, что Миша, наверное, единственный человек в этой семье, с которым Сергей Андреевич разговаривает, не проверяя.

Потом подали чай, и свёкор положил ладонь на скатерть.

Он не стучал вилкой по бокалу, не вставал. Он только положил ладонь, и все замолчали — даже Алиса.

— Аудит закончили в пятницу, — сказал Сергей Андреевич. — По «Транс Логистикс». Я читал. Компания в порядке. Лучше, чем я думал. В основном потому, что последние три года ею занимался Семён, а не я.

Семён не шевельнулся. Только у меня под ладонью, на его колене, напряглась мышца.

— С января Семён — генеральный директор. Председатель совета — тоже он. Я остаюсь в холдинге и в совете «РузМакс ХФ», а «Транс Логистикс» больше не моё дело. Документы юристы подготовят к декабрю. Порты остаются за Кириллом. Это не обсуждается. И это не кость ему кинули. Порты — это половина денег.

— Я понял, отец, — сказал Кирилл.

— Я знаю, что ты понял. Я говорю для остальных.

Софья Львовна сидела очень прямо. Кристина смотрела в чашку. Ника, единственная, улыбнулась — открыто, широко — и сказала: «Сёма, поздравляю», — и после этого все тоже заговорили, задвигались, кто-то засмеялся, Алиса спросила, что такое генеральный директор, и Миша, страшно гордый, объяснил ей, что это главный. «Главнее дедушки?» — спросила Алиса, и все засмеялись снова, а дед сказал: «Главнее, Алиса. Но ты ему этого не говори».

Семён не сказал ничего. Потом наклонился ко мне и сказал так, что слышала только я:

— Я думал, он скажет это лет через пять.

— Он сказал сейчас.

— Да. — Семён выдохнул. — Да.

Сергей Андреевич поднял рюмку. В Николине пили за столом мало, но по таким дням полагалась одна рюмка, и Софья Львовна заранее ставила графин, хотя никто никогда его не допивал.

— Я не умею говорить тосты, — сказал свёкор. Он говорил это каждый раз — и каждый раз произносил короткий тост, который потом все пересказывали. — Тридцать два года назад мы с Борей купили два грузовика в Рузе. Один сломался через неделю. Боря говорил, что это знак. Я говорил, что это грузовик. Я не про бизнес. Бизнес — это так, колёса. Я про то, что всё, что у нас есть, — оттого, что за этим столом друг друга не бросают. Ни в девяносто восьмом, ни в восьмом, ни сейчас. Что бы ни было. — Он поднял рюмку выше. — За семью.

— За семью, — сказали все.

Я подняла бокал с вишнёвым соком — я не пила в тот день, потому что обратно должна была вести я, — и в эту секунду в сумке у меня под стулом зажужжал телефон.

Я включила его в машине, чтобы посмотреть школьный чат: в понедельник у Миши был турнир, и учитель обещал прислать расписание. И забыла выключить. Телефон жужжал длинно, настойчиво, и Софья Львовна, не поворачивая головы, посмотрела на меня краем глаза.

— Извините, — сказала я.

На экране было: *Майя*.

Майя звонила мне каждую неделю, иногда чаще, но никогда в воскресенье днём. Воскресенье она считала днём семьи — моей семьи — и всегда говорила: «В воскресенье я тебя не трогаю, у тебя свои». Я вышла через стеклянную дверь в сад.

* * *

— Сашенька, — сказала Майя. — Ты где?

— В Николине. У Вейнов. Что-то случилось?

У Майи был голос, который я узнала бы среди тысячи других: низкий, поставленный голос женщины, которая тридцать лет учила девочек говорить и ни разу на моей памяти не повысила его. В этом голосе никогда не бывало пустот. А теперь была пустота, длинная, секунды на три, и я, ещё ничего не зная, почувствовала, как у меня мёрзнут пальцы на свободной руке.

— Ты сидишь?

— Я в саду. Майя, что?

— Даша, — сказала она. — Даша Круглова. Сегодня ночью. Она разбилась на машине, Сашенька. На Новорижском, под Истрой. Её больше нет.

В саду у Вейнов росли старые яблони, которые остались от прежних хозяев участка, и Сергей Андреевич не дал их выкорчевать, хотя архитектор настаивал. Яблоки в этом году уродились мелкие, кислые, их никто не собирал, и они лежали в траве, и над ними гудели осы. Я смотрела на ос.

— Как разбилась?

— Ночью. Она была одна. Вылетела с дороги, был дождь. Мне позвонили в девять утра из полиции — у неё в телефоне я записана как… — Майя запнулась. — Как «Майя, если что». Представляешь? «Если что». Пять лет не брала трубку, а записала так.

— Она… — Я не знала, что спросить. — Сразу?

— Сразу. Мне сказали, что сразу. Она не мучилась.

Я села на скамейку у яблони. Скамейка была мокрая после ночного дождя, и я почувствовала, как сырость проходит сквозь брюки, и подумала, что надо встать, и не встала.

Даша. Дашка. Мы прожили в одной комнате на Пречистенке восемь лет, с того дня, когда её привезли — десятилетнюю, худую, остриженную под мальчика, в чужой куртке, — и она в первый же вечер сказала мне, что, если я буду храпеть, она меня задушит подушкой. Я не храпела. Она меня не задушила. Она была самым смешным, самым злым и самым красивым человеком, которого я знала. Она первой из нашего выпуска вышла замуж, первой родила, первой развелась — с грохотом, с адвокатами, с фотографиями в журналах — и первой ушла от нас насовсем, так что последние пять лет я узнавала о ней из чужих разговоров. Последний раз я видела её полтора года назад в фойе Консерватории. Она шла мне навстречу в красном пальто, худая, как в десять лет, и, поравнявшись, сказала, не останавливаясь: «Ну что, отличница. Всё по плану?» — и прошла. Я тогда подумала, что она пьяна. Потом подумала, что нет. Потом перестала думать.

— Отпевание во вторник, — говорила Майя. — На Троекуровском, в одиннадцать. Арсений Анатольевич всё организует, он уже звонил. Елена Аркадьевна просила, чтобы девочки были. Все, кто сможет. Она очень хочет, чтобы Дашу проводили по-человечески. Она всё-таки наша.

— Я буду.

— Я знаю, что будешь. — Голос у неё дрогнул и тут же выровнялся. — Ты прости, что я в воскресенье. Я не могла ждать.

— Майя, что ты.

— Обними детей. Скажи Сёме. И не садись сегодня за руль, слышишь? Пусть Сёма ведёт.

Она отключилась. Я сидела на мокрой скамейке и держала телефон в руке, и экран погас, а потом, когда я нажала на кнопку, загорелся снова, и я увидела то, чего не заметила в машине, когда смотрела школьный чат.

Внизу, под значком сообщений, стояла единица.

Сообщение было от Даши. Отправлено в субботу, в 23:52.

Я открыла его.

*Если когда-нибудь начнёшь задавать вопросы, не спрашивай, что они сделали. Спроси, что они вообще считают преступлением.*

Больше ничего. Ни «привет», ни подписи. Над этим сообщением в переписке было предыдущее, моё, двухлетней давности, на её день рождения: «Даш, с днём рождения. Я тебя люблю, ты знаешь». Она тогда не ответила. А в субботу, без восьми минут полночь, за два часа до того, как вылететь с дороги под Истрой, она ответила вот этим.

Я прочитала его два раза. Потом третий.

*Они.* Я сразу подумала о Салтыковых. Весь прошлый год Даша судилась с бывшим мужем из-за Тимофея: Салтыковы хотели отправить мальчика в школу в Англии, с пансионом, как когда-то отправили самого Арсения Анатольевича, а Даша не хотела и бегала по судам с двумя адвокатами, и об этом писали, и мне рассказывала Катя Новикова, которая знала всё обо всех.

Говорили, что у Салтыковых юристы, каких нет в администрации президента. Говорили, что Даша проигрывает. Говорили, что она пьёт. Я представила, как она сидит ночью в своём доме под Истрой, после очередного заседания или письма, и пишет мне, единственному человеку из прошлой жизни, которому, может быть, ещё можно было написать. «Спроси, что они вообще считают преступлением». Отнять ребёнка у матери и отправить за море — по закону. Всё по закону.

Я напечатала: «Даш, ты о чём?»

Посмотрела на это. Стёрла.

Напечатала снова и отправила. Под сообщением появились две серые галочки: доставлено. Её телефон лежал где-то — в полиции, в пакете для вещественных доказательств, в разбитой машине на штрафстоянке, — и принял моё сообщение, и молчал.

* * *

Когда я вернулась в столовую, все сразу посмотрели на меня. Семён встал.

— Даша Круглова погибла, — сказала я. — Ночью. Разбилась на машине.

Кристина сказала: «Господи». Кирилл нахмурился, вспоминая, кто это. Софья Львовна поставила чашку на блюдце аккуратно, без звука, и я увидела, как дрогнула у неё рука. Она знала Дашу — немного, по благотворительным вечерам фонда, по нашей свадьбе. Даша на нашей свадьбе танцевала со всеми подряд и в конце концов уговорила Сергея Андреевича станцевать с ней вальс, и он станцевал, неуклюже и серьёзно, а Софья Львовна смотрела на это из-за стола с выражением, которого я тогда не поняла.

— Это та, рыжая? — спросил Сергей Андреевич.

— Она перекрасилась, — сказала я. — Давно. Да. Та.

— Чем помочь?

Я сказала, что ничем, что похороны организует бывший муж, что во вторник отпевание. Про сообщение я не сказала. Больше свёкор ничего не спрашивал.

Семён усадил меня рядом с собой. Алиса не понимала, что случилось, но понимала, что что-то, и вела себя тише обычного. Миша, наоборот, понял всё и смотрел на меня так, как смотрит на шахматную доску, когда противник сделал непонятный ход.

Обед продолжался. Никто не знал, что делать, а встать и уйти от стола, где только что подняли рюмки за семью, было нельзя. Подали десерт. Софья Львовна сама разрезала пирог. Кирилл заговорил с отцом про Усть-Лугу, про немецкие краны, которые застряли где-то на таможне, и Сергей Андреевич отвечал ему коротко, а Семён молчал и гладил большим пальцем мою ладонь. Кристина рассказывала Нике про новую кухню. Лёва уснул у Ники на руках. Было тепло, пахло айвой, корицей и сукном, в окна било низкое осеннее солнце, и на скатерти лежали пятна света, в которых медленно поворачивались пылинки.

Я смотрела на эти пятна света и думала, что вот сейчас, в эту самую минуту, Даша лежит где-то в морге, в холодном ящике, с биркой на ноге, а мы едим пирог. И что это нормально. И что так и будет: мы доедим пирог, поедем домой, я уложу детей, Семён позвонит кому-нибудь насчёт терминала, а в понедельник у Миши турнир. И что этот нормальный порядок вещей, за который я была благодарна каждый день своей жизни, вдруг показался мне тоньше бумаги.

Перед отъездом, в холле, Софья Львовна подала мне пальто. Она никогда этого не делала.

— Я её помню, — сказала она. — На вашей свадьбе. Она очень хорошо танцевала.

— Да.

— Ты приезжай, если что. Одна. Без него. — Она кивнула в сторону Семёна, который на крыльце застёгивал Алисе куртку. — Посидим.

Я сказала, что приеду, и она поправила мне воротник быстро и точно, как поправляла Алисе колготки, и отвернулась.

* * *

Домой вёл Семён. Дети уснули через десять минут: Миша привалился к окну, Алиса — к брату. По Рублёвке тянулся воскресный поток, фары встречных машин уже горели, хотя было ещё светло.

— Ты как? — спросил Семён.

— Не знаю.

— Вы же давно не общались.

— Пять лет.

— Ну вот. — Он понял, что сказал не то. — Я не в том смысле.

— Я знаю, в каком ты смысле.

Мы проехали мост. Под мостом река была серой, как олово, и по ней шёл маленький белый катер с флажком.

— Она прислала мне сообщение, — сказала я. — Вчера, ночью. За два часа.

— Какое?

Я прочитала ему вслух.

— Это про Салтыковых, наверное, — сказал он. — Она же с ними судилась?

— Судилась.

— Ну вот. Арсений — нормальный мужик, но там папаша. Старший Салтыков. Я с ним сидел однажды в одном совете, это… это человек, который никогда ничего не нарушает. У него для этого сорок юристов.

— Вот и она так, — сказала я. — Про закон.

— Про закон, — согласился Семён. — Слушай. Я понимаю. Ты думаешь, что могла что-то сделать, ответить ей раньше. Но ты спала. У тебя был выключен телефон. Это правило, Саш, ты сама его придумала. Ты не виновата.

Я не думала, что виновата. Я думала о другом, но не могла бы объяснить о чём. О том, что Даша написала «они» и я сразу решила, что знаю, кто это. О том, как легко было решить. О том, что «начнёшь задавать вопросы» — это не про суд и не про Тимофея, это про меня, про то, что я когда-нибудь начну. Она была в этом уверена. А я не понимала, о каких вопросах речь, потому что у меня не было никаких вопросов. Ни одного. У меня было всё.

— Я не виновата, — сказала я.

— Вот.

Дома я переодела спящую Алису в пижаму, не разбудив, — у меня это всегда получалось лучше, чем у Семёна, — укрыла Мишу, который во сне сказал что-то про слона, и спустилась на кухню. Марьяна по воскресеньям не работала, и на кухне было пусто и чисто. Я поставила чайник. Достала из буфета белую лиможскую чашку из сервиза, который Софья Львовна подарила нам на первую годовщину со словами: «В машине не мыть, Саша. Стопкой не ставить. И он переживёт и нас, и детей». Тогда мне показалось, что это экзамен. Потом — что это благословение. Теперь, в пустой ночной кухне, я подумала, что это была просто фраза.

Чайник закипел и щёлкнул. Я не стала наливать.

Наверху скрипнула ступенька. Миша стоял на лестнице в пижаме, босиком, щурясь на свет.

— Мам, — сказал он. — А тётя Даша — это которая подарила мне ракету?

Ракету Даша подарила ему на два года. Огромную, пластмассовую, с кнопкой, которая запускала оглушительный звук взлёта. Это был последний раз, когда она была у нас дома. Ракета сломалась через месяц, но Миша не дал её выбросить, и она до сих пор лежала у него в шкафу, на верхней полке, за коробками с конструктором.

— Да, — сказала я. — Которая ракету.

Он подумал.

— Тогда жалко, — сказал он и пошёл спать.

# Глава вторая. Троекуровское

Семён хотел отменить Усть-Лугу. Он сказал это в понедельник утром, стоя в дверях ванной с зубной щёткой во рту, и я сказала, что не надо, что это глупо, что он видел Дашу четыре раза в жизни и что немецкие краны, застрявшие на таможне, важнее, чем его рука у меня на локте, которую я и так чувствую, даже когда его нет рядом. Он задержал на мне взгляд, как смотрят на человека, который говорит правильные вещи слишком гладко, но спорить не стал. Он улетел в понедельник вечером. Во вторник в девять утра Толя, наш водитель, уже стоял у крыльца с прогретой машиной и зонтом.

Ночью подморозило. Это был первый заморозок, ранний даже для этой осени, и трава на лужайке поседела, а в бочке под водостоком затянуло воду тонким, как слюда, ледком. Алиса разбила его пальцем, пока я застёгивала ей пальто, и сказала: «Смотри, стекло». Марьяна повела её к школьному автобусу, а Миша задержался на крыльце, посмотрел на моё чёрное платье и спросил, надолго ли я. Я сказала, что к вечеру вернусь. Он кивнул, как взрослый, которому сообщили расписание.

По дороге я смотрела в окно. Толя не включал радио: он вообще был человек деликатный и, кажется, считал, что в машине у хозяев надо молчать так же, как в церкви. Рублёвка, потом Кутузовский, потом Минское шоссе, потом поворот. Небо было глухого серого цвета, без единого просвета, как плохо проклеенная бумага, на которой всё расплывается. Я думала о том, что не была на похоронах восемь лет, с тех пор как хоронили Аду Борисовну, нашу преподавательницу. Тогда мы тоже собирались все, и тогда тоже был октябрь.

* * *

Церковь на Троекуровском маленькая, белая, с зелёным куполом, и в то утро вокруг неё стояло столько машин, что Толе пришлось высадить меня у ворот и уехать на дальнюю стоянку. Я пошла по аллее одна. Под ногами хрустел гравий, на берёзах висели последние жёлтые листья, мокрые, тяжёлые, и время от времени один из них отрывался и падал отвесно, без всякого кружения, как падает лист бумаги, на который пролили воду.

У входа в церковь стояли женщины.

Сначала я увидела только черноту — плотную, неподвижную, на фоне белой стены. Потом стала различать лица. Я знала почти всех.

Вот Катя Новикова — старше меня на шесть лет, в Доме мы её звали «Катька-мама», потому что она заплетала младшим косы и отбирала у них сладкое перед ужином. Вот Оля Мельникова, с которой мы три года сидели за одной партой на немецком и которая играла на скрипке так, что Ада Борисовна однажды заплакала. Вот Ира и Марина Вороновы — «сёстры Вороновы», как их все называли, хотя сёстрами они не были, а были двумя девочками из разных выпусков, которые с разницей в пять лет вышли замуж за двух братьев Вороновых и с тех пор ходили всюду вместе, словно их родство было настоящим. Вот Полина Ланская, тихая и пугливая. Вот Настя Мирская. Вот Лиза. Вот Аня Корф. Вот ещё одна, и ещё одна, лица, которые я помнила детскими — с бантами, с брекетами, с прыщами, со слезами из-за двоек по алгебре, — а теперь видела взрослыми, ухоженными, в хороших пальто.

Они меня тоже узнавали. Кто-то обнимал коротко и крепко, не говоря ни слова. Катя притянула меня к себе — от неё пахло, как двадцать лет назад, ванильным печеньем и детским кремом — и прошептала мне в волосы: «Сашка, ну что же это такое, а?» Я сказала, что не знаю. Она сказала: «Вот и я».

Были там и другие — женщины, которых я не знала или знала плохо: стипендиатки фонда из других программ, сотрудницы, преподаватели. Несколько девочек-студенток из общежития на Бережковской сбились в стайку у ограды, все в одинаковых тёмных куртках. Две пожилые

дамы из попечительского совета. Но нас, из Дома, было больше всех. Я потом посчитала. Нас было двадцать шесть.

Внутри было тесно и жарко от свечей. Гроб стоял посередине, открытый, и вокруг него было столько белых цветов — лилий, роз, хризантем, — что запах стоял тяжёлый и сладкий, как в оранжерее, где не открывают окон. Я встала у стены, рядом с Олей, и какое-то время не могла заставить себя посмотреть.

Потом посмотрела.

Даша лежала в белом. Лицо у неё было хорошо загримировано: следов удара почти не было видно, только левая скула казалась чуть шире правой, словно она немного повернула голову, чтобы что-то расслышать. Волосы были убраны назад, гладко, и это было неправильно: Даша никогда в жизни не убирала волосы гладко, она их взбивала, лохматила, красила то в рыжий, то в чёрный, то в какой-то невозможный пепельный, и Ада Борисовна говорила ей, что она похожа на ведьму из немецкой сказки, а Даша отвечала, что так и задумано. Сейчас она была похожа на кого-то другого. На хорошую девочку.

Руки у неё были сложены на груди, и на безымянном пальце правой руки белела полоска там, где пять лет назад было кольцо. Пять лет, а полоска не загорела. Наверное, она не ездила на юг. Или носила перчатки. Или кольцо было снято не пять лет назад, а позже.

Шея была открыта. Кулона на ней не было.

Я заметила это сразу, потому что это первое, на что мы смотрим друг у друга, — машинально, как смотрят на обручальное кольцо. Серебряный листок клевера, четыре листа на одном стебле. Нам их вручали в семнадцать лет, каждой в свой день рождения, и почти все носили их не снимая — не потому, что так требовали, никто ничего не требовал, а потому что это было наше, единственное, что было только наше. Я посмотрела вокруг: у Кати под воротом блузки поблёскивала тонкая цепочка; у Оли кулон лежал поверх чёрного свитера, и она, кажется, этого не замечала; у Полины он был на браслете: она когда-то говорила, что цепочки её душат. У Даши не было ничего. Я подумала, что она сняла его давно, тогда же, когда перестала брать трубку, и что я об этом ничего не знала, потому что не видела её близко пять лет.

Отпевал молодой священник с усталым лицом. Хор пел хорошо. Я стояла и не слушала слов, а смотрела, как не колеблясь горят свечи в руках у женщин и как воск стекает по пальцам, и никто не морщится. Никто не плакал вслух. Катя вытирала глаза платком, Оля стояла с закрытыми глазами, Полина беззвучно шевелила губами — молилась или повторяла за хором. Ира Воронова держала Марину за руку. Все стояли прямо. Я вдруг вспомнила, как Ада Борисовна учила нас — нам было лет по четырнадцать, был такой урок, назывался он скучно, «культура общения», — что горе не должно становиться обязанностью для окружающих. «Если вы плачете так, что вас нужно утешать, — говорила она, — вы забираете у людей силы, которые нужны им самим. Плачьте так, чтобы рядом с вами было легче». Тогда это казалось мне благородным. И сейчас казалось. Но я посмотрела на ровный строй чёрных спин, на свечи, которые не дрожали, и подумала, что со стороны мы, наверное, похожи не на подруг, а на делегацию.

Мысль была неприятная, и я её прогнала.

* * *

Елена Аркадьевна Вольская стояла у самого гроба, в первом ряду, вместе с Майей. Я видела её со спины: прямая, невысокая, в сером пальто, с серебряными волосами, уложенными низко на затылке. Ей было семьдесят два года, и со спины ей можно было дать пятьдесят. Когда она повернулась, чтобы поставить свечу, я увидела её лицо — сухое, с тонкими губами и очень светлыми глазами, — и в этом лице не было ничего, кроме усталости и сосредоточенности, как у человека, который хорошо делает тяжёлую работу.

Майя плакала. Она плакала беззвучно, не вытирая слёз, и я впервые видела, как Майя плачет от горя. Ей было пятьдесят пять, у неё были тёмные волосы с одной седой прядью надо лбом, которую она никогда не закрашивала, и прямая спина — та самая, какой она добивалась

и от нас. Майя учила нас дышать, говорить, держать паузу. Майя забирала меня из школы, когда я болела, сидела у моей постели, когда у меня в двенадцать лет была скарлатина, и читала мне вслух «Сагу о Форсайтах»; я ничего не понимала, но засыпала под её голос. Майя была моим опекуном по документам, пока мне не исполнилось восемнадцать. Не по документам — дольше.

После отпевания, когда гроб понесли к выходу, она нашла меня в толпе и обняла. Обнимала долго.

— Сашенька, — сказала она. — Ты пришла.

— Конечно.

— Без Сёмы?

— Он в Усть-Луге. Он хотел отменить.

— Правильно, что не отменил. — Она посмотрела мне в лицо, как смотрела, когда я была маленькая, — проверяя, нет ли температуры. — Ты не спала.

— Немного.

— Немного — это ничего. Пойдём. Елена Аркадьевна хотела тебя видеть.

Мы пошли за гробом по аллее. Впереди несли венки: от фонда, от «Лайпита», от школы, где учился Тимофей, от кого-то ещё. Гравий хрустел, с берёз падали листья. Где-то далеко, за деревьями, гудело шоссе, и от этого гула тишина на кладбище казалась ещё глубже, словно мы шли по дну.

Елена Аркадьевна шла впереди одна. Потом замедлила шаг, и мы с Майей её догнали.

— Саша, — сказала она и протянула мне руку. Рука у неё была сухая, лёгкая, в тонкой серой перчатке. — Спасибо, что приехала.

— Здравствуйте, Елена Аркадьевна.

Она заговорила, глядя вперёд, туда, где покачивался над головами носильщиков светлый гроб:

— Она всегда торопилась. С десяти лет. Ей всё нужно было сразу — понять, доказать, получить, бросить. Я однажды ей сказала: Даша, у тебя впереди шестьдесят лет, куда ты спешишь? Знаешь, что она ответила? «А вы откуда знаете, что шестьдесят?» Ей было двенадцать.

— Она была очень умная, — сказала я.

— Она была очень умная, — повторила Елена Аркадьевна. — Умнее многих. Умнее, может быть, всех вас. Но ум — это ещё не всё, что нужно человеку, чтобы жить. Чтобы уцелеть, если точнее. Нужно ещё уметь ждать. А этому она так и не научилась.

Она сказала это без упрёка, с грустью. Шла, чуть опираясь на руку Майи, и смотрела прямо перед собой, и я подумала, что она похоронила уже многих — родителей, друзей, кого-то из своих девочек, — и что для неё это не первый такой октябрь.

— Как ты? — спросила она, не поворачивая головы. — Как дети? Как Семён?

— Хорошо. Семёна назначают генеральным в «Транс Логистикс». С января.

— Я слышала. Сергей Андреевич наконец решился. Это хорошо. Это правильно. Передай ему мои поздравления. И Семёну.

— Передам.

— И береги себя, Саша. Ты бережёшь всех — детей, Семёна, чужие листы у себя в мастерской, — а себя в последнюю очередь. Я тебе это говорю с тех пор, как тебе было двенадцать.

— Я знаю.

— Знаешь, а не делаешь. Вы все такие.

* * *

У могилы стоял Салтыков.

Я видела его раньше, в церкви, — он стоял у правого клироса, рядом с сыном, высокий, грузный, в распахнутом пальто, — но там было тесно, и я не подходила. Теперь он стоял у края ямы, и рядом с ним, прижавшись к его боку, стоял Тимофей. Мальчику было десять, он был

в тёмно-синем пальто с пуговицами в два ряда и смотрел вниз, в яму, не отрываясь, как дети смотрят на то, чего не понимают, но боятся пропустить.

Арсению Анатольевичу Салтыкову было сорок четыре года. Я помнила его по их свадьбе — громкого, весёлого, с широкими жестами, похожего на большого рыжего пса, который сбивает людей с ног от радости. Даша смеялась над ним и звала его «мой медведь». Он строил дома — много домов, целые кварталы, — и «Лайпит» был одной из тех компаний, чьи рекламные щиты стоят вдоль всех шоссе: «Ваш дом. Ваш выбор». Сейчас он был похож на человека, который трое суток не спал и не ел и держится на ногах только потому, что рядом сын.

Гроб опустили. Священник прочитал последнее. Люди стали подходить и бросать землю. Я взяла горсть — земля была холодная, тяжёлая, глинистая, с мелкими камешками, — и бросила, и услышала, как она стукнула о крышку. Потом встала у чужой ограды, под старой липой.

Салтыков подошёл ко мне сам. Отправил Тимофея к какой-то женщине в сером и пошёл между могилами — тяжело, неловко, задевая полами пальто мокрые кусты.

— Вы Саша, — сказал он. — Морозова.

— Да. Примите мои…

— Да-да. — Он сунул руки в карманы, вынул, снова сунул. — Я вас по фотографиям помню. Со свадьбы. Она мне показывала. Говорила: вот это Сашка, вот это моя Сашка.

Я не знала, что сказать, и ничего не сказала.

— Она про вас говорила. Последний год особенно. Говорила, что вы единственная, кто ей никогда не врал.

— Мы не общались пять лет.

— Ну, может, поэтому. Слушайте. Я не знаю, зачем я это говорю. Мне просто не с кем. Эти все, — он мотнул головой в сторону женщин у могилы, — они хорошие, они все звонили, все предлагали помощь, все такие… правильные. Я с ними не могу. А вы вроде как… Она не спала, вы знаете?

— Нет.

— Последний год. Совсем не спала. Два часа, три. Пила таблетки, не помогало. Я ей говорил: Даша, сходи к нормальному врачу, а не к этим, — он снова мотнул головой, но на этот раз неопределённо, — она говорила, что ходила. Что ей сказали — это пройдёт. Тимоха мне рассказывал, что мама ночами сидит на кухне и пишет что-то. В тетради. Он думал — письма.

— Кому?

— Не знаю. Может, вам. Вы ничего не получали?

— Сообщение, — сказала я. — В субботу. Ночью.

Он вздрогнул.

— Что там?

Я сказала. Он слушал, сжав челюсти.

— Это про нас, — сказал он наконец глухо. — Про суд. Про отца моего. Она его ненавидела. — У него задрожал подбородок, и он сжал его ладонью. — Я ей говорил: давай договоримся, давай без судов. Пусть Тимоха сам выберет, когда подрастёт. Она не хотела. Говорила: он не выберет, его научат выбрать. Я не понимал, о чём она. Я и сейчас не понимаю.

Женщина в сером подошла с Тимофеем и что-то сказала ему негромко. Салтыков взял сына за руку.

— Поминки на Красной Пресне, в ресторане. Галина Петровна вам скажет адрес. — Он кивнул на женщину в сером. — Приходите. Пожалуйста.

И пошёл, ссутулившись, к выходу, а Тимофей шёл рядом и, оглядываясь, смотрел на меня через плечо, серьёзно, без выражения.

* * *

Я ещё немного постояла под липой.

Люди расходились не сразу. Женщины из фонда собирались группками, разговаривали вполголоса. Елена Аркадьевна стояла у свежего холмика, засыпанного цветами, одна, сложив руки. Майя ждала её поодаль.

И тут я увидела человека у ограды.

Он стоял за пределами нашей толпы, у границы участка, где начинались чужие старые могилы с покосившимися крестами и ржавыми оградками. Высокий, худой, в тёмной куртке, без шапки и без зонта, хотя начинало моросить. Он не был похож ни на кого из нас. Не родственник, не сотрудник фонда, не охранник Салтыкова: те стояли у машин, широкие, в одинаковых пальто. Этот стоял один и смотрел на женщин у могилы. Не на холмик, не на цветы — на женщин. Время от времени он что-то записывал в маленький блокнот, держа его у груди, чтобы не намочило.

Я подумала, что это журналист. После Дашиного развода о ней много писали, и теперь кто-то хотел написать про её смерть. Я подумала, что это отвратительно, и что надо сказать охране, и что, наверное, не надо, потому что журналисты имеют право стоять у ограды кладбища, как и все остальные.

Я сделала к нему шаг.

Он поднял голову и посмотрел прямо на меня. Посмотрел внимательно, без любопытства и без смущения, как смотрят на номер дома, сверяя его с адресом. Потом закрыл блокнот, сунул его в карман и пошёл по аллее к выходу, не оглядываясь.

И вот тогда, глядя ему в спину, а потом снова на женщин у могилы, я увидела то, чего никогда раньше не видела.

Катя Новикова из Вологды — жена Аркадия Новикова, у которого фармацевтическая компания и дом в Жуковке. Оля Мельникова из Сызрани, у которой мать работала на заводе и пила, — жена Дениса Мельникова, банк, три поколения банкиров, дед — замминистра финансов. Ира и Марина Вороновы, одна из Курска, другая из какого-то посёлка под Тамбовом, — жёны двух братьев Вороновых, сеть клиник, недвижимость, что-то в Казахстане. Полина Ланская из детского дома в Ярославле — жена Ланского-младшего, и я даже не помнила, чем занимаются Ланские, но знала, что у них яхта, которую однажды показывали в новостях. Настя Мирская. Лиза. Аня Корф. Я шла по лицам, одно за другим, как по строчкам в описи, и почти против каждого имени стояла фамилия, которую знала вся Москва. Почти против каждого.

Я — дочь швеи из полуподвала в Текстильщиках — жена Семёна Вейна.

Даша — дочь женщины, лишённой родительских прав в Череповце, — бывшая жена Арсения Салтыкова.

Раньше я никогда не видела в этом ничего, кроме того, что видели все: нас хорошо учили, нам дали образование, языки, музыку, вкус, нас научили держаться, и мы попали в круг, где встречают таких мужчин, и вышли за них, и что тут странного. Это же не закономерность, это просто жизнь. Я сто раз слышала, как об этом говорили с гордостью: Елена Аркадьевна, попечители, журналисты, которые писали о фонде: «Выпускницы „Этели“ — врачи, искусствоведы, юристы, матери прекрасных семей». Я и сама так думала. С гордостью.

А теперь стояла под липой на Троекуровском, и у меня в голове была не гордость, а опись. Двадцать шесть женщин. Двадцать шесть фамилий. И я не могла вспомнить ни одной из нас, которая вышла бы замуж за учителя.

Наверное, такие были. Наверное, я просто не помнила. Наверное, они не пришли: живут в других городах, работают, у них нет денег на похороны в Москве. Наверное.

— Саша. — Майя стояла рядом, держала надо мной зонт. Я не заметила, когда она подошла. — Ты вся мокрая. Пойдём, Елена Аркадьевна уезжает, тебя довезти?

— Меня Толя ждёт.

— Тогда иди к Толе. — Она вгляделась в меня. — Что с тобой?

— Ничего, — сказала я. — Я просто считала.

— Что считала?

— Нас.

Майя нахмурилась, и мне показалось, что она сейчас спросит ещё, но она не спросила. Она взяла меня под руку и повела к выходу, держа зонт так, чтобы мне не капало за воротник, и говорила по дороге что-то ласковое про то, что Даше теперь спокойно, что Даша наконец выспится, что мы все должны поддерживать друг друга, особенно сейчас, — и я слушала её голос, и он действовал на меня так же, как всегда, с восьми лет: как тёплая вода, в которую опускаешь замёрзшие руки. Становилось легче.

У ворот я обернулась. Женщины в чёрном садились в машины. Водители открывали им двери, держали зонты. Двери мягко захлопывались — тяжёлые, глухие звуки дорогих машин, — и машины одна за другой выруливали на аллею и уходили к шоссе, медленно, с включёнными фарами, как кортеж.

# Глава третья. Коробка

Поминки были в ресторане на Красной Пресне, в отдельном зале на втором этаже, где стены были обиты тёмно-зелёной тканью, а на окнах висели тяжёлые шторы с кистями, как в провинциальном театре. Салтыков снял весь этаж. Столы стояли буквой «П», на белых скатертях — кутья, блины, кисель, водка в запотевших графинах, и всё это вместе — скатерти, графины, шторы — выглядело так, будто кто-то очень старался сделать правильно, по обычаю, и не знал как.

Я не хотела ехать. Я сказала Толе: домой. Потом, на светофоре у Кутузовского, сказала: нет, на Пресню. Толя ничего не спросил и перестроился.

Народу было меньше, чем на кладбище. Елена Аркадьевна не поехала: у неё разболелась голова, и Майя повезла её домой. Многие из наших тоже уехали: у кого дети, у кого врачи, у кого благотворительный обед в два часа, который нельзя пропустить. Остались Катя, Оля, сёстры Вороновы, ещё человек пять. Остались какие-то мужчины из «Лайпита», в одинаковых костюмах, с одинаково скорбными лицами. Остались двое Дашиных адвокатов: я узнала их по фотографиям из новостей. Остались старые Салтыковы: отец, Анатолий Ефимович, сухой, лысый, в золотых очках, и его жена, которая весь обед просидела, глядя в одну точку. Анатолий Ефимович встал, произнёс короткую речь о том, что Дарья была матерью его внука и что семья всегда будет помнить её с уважением, и сел. «С уважением» он сказал так, как это пишут в конце делового письма, перед подписью.

Я сидела между Катей и Олей и ела блин, который не могла проглотить.

— Ты видела? — шепнула Катя. — Старший Салтыков. Пришёл. Я думала, не придёт.

— Почему?

— Ну как почему. Он же её… — Катя замялась. — Ну, они же судились. Он через своих людей её в психушку хотел упечь, ты не знала? В прошлом году. Чтобы признать неспособной воспитывать. Не получилось. Мне Ира рассказывала, а Ире — её свекровь, а свекровь у Иры с Салтыковой-старшей в одном фонде, по онкологии.

— Катя, — сказала Оля.

— Что «Катя»? Я же только тебе. И Сашке.

Я вспомнила Дашино сообщение. «Не спрашивай, что они сделали». Вот, значит, что они сделали. Хотели признать её сумасшедшей. По закону. Через суд, через экспертизу, через сорок юристов. И у них не получилось. Я посмотрела на старика в золотых очках, который аккуратно, мелкими кусочками ел блин, и подумала, что ненавижу его. Это было простое, ясное чувство, и я ему почти обрадовалась.

* * *

Галина Петровна подошла ко мне, когда начали расходиться.

Это была женщина лет шестидесяти, маленькая, плотная, с короткой стрижкой и красными, натруженными руками, в сером трикотажном костюме, который на ней сидел так, будто его выдали под расписку. Она работала у Даши пять лет, с самого развода: сначала домработницей, потом, когда Даша перестала справляться, всем сразу. Тимофей звал её «Галя» и держался за неё на кладбище, как держатся за перила.

— Вы Александра? — спросила она. — Сергеевна?

— Да.

— Можно вас на минутку?

Мы вышли на лестничную площадку. Там было окно на улицу, и внизу, на Пресне, ехали машины, и шёл мокрый снег — первый в этом году, редкий, неуверенный; он таял, не долетев до асфальта.

— Дарья Андреевна мне летом одну вещь оставила, — сказала Галина Петровна. — Коробку. Сказала: Галя, если со мной что, отдашь Саше. Саше Морозовой. Я говорю: что с вами может случиться? А она смеётся. Говорит: ну мало ли, Галя, вдруг меня похитят инопланетяне. — Галина Петровна шмыгнула носом. — Я думала — шутит. Она всегда так шутила.

— Коробка здесь?

— В машине у меня. Я её в машину с утра положила, чтобы не забыть. Арсению Анатольевичу не говорила. Она просила — никому, только вам. Я не открывала. Вы не думайте.

— Я не думаю.

Машина у неё была старая «Шкода» с подмосковными номерами, и коробка лежала на заднем сиденье, рядом с детским креслом, которое Тимофей давно перерос. Обычная картонная коробка из-под чего-то бытового — на боку полустёртая надпись «Филипс», — заклеенная крест-накрест коричневым скотчем. На крышке чёрным маркером было написано: «САШЕ». И ниже, мельче: «не реви».

Почерк был Дашин. Я узнала бы его где угодно: крупные угловатые буквы с наклоном влево, которые Ада Борисовна называла «почерком человека, который пишет против ветра». «Р» и «о» у неё никогда не соединялись. Палочка у «д» уходила вниз, под строку, длинным хвостом.

Я взяла коробку. Она была не тяжёлая — килограмма два, может, три.

— Спасибо, Галина Петровна.

— Вы её любили? — вдруг спросила она.

— Да.

— Вот и она вас, — сказала Галина Петровна, кивнула сама себе и пошла обратно, наверх, к Тимофею.

* * *

Толя положил коробку в багажник. Я попросила переложить её на сиденье рядом со мной. Всю дорогу до Раздоров я держала на ней руку, как держат руку на спине у спящей собаки, и не открывала.

Дома было тихо. Марьяна забрала Алису из школы, накормила, и они сидели наверху, в детской: я слышала, как Марьяна читает вслух что-то про Муми-троллей, а Алиса время от времени перебивает её вопросами. Миша до семи был на футболе: у них была игра. Я сказала Марьяне через дверь, что вернулась, что поужинаю потом, и пошла в мастерскую.

Мастерской я называю маленькую комнату на первом этаже, за кухней, с окном на север. Когда мы покупали дом, там была гладильная. Я поставила туда большой стол, лампу с увеличительным стеклом, стеллаж с папками, сушильную сетку, пресс и — моя гордость — лёгкий стол с подсветкой снизу, на котором можно смотреть бумагу на просвет. Здесь я работаю, когда не езжу в Лаврушинский: подклеиваю надрывы, снимаю старые наклейки, промываю пожелтевшие листы, пока они не начинают дышать. Это единственная комната в доме, куда без стука не входит никто, даже Семён.

Я поставила коробку на стол и включила лампу. Взяла скальпель. Скотч поддался легко: он был старый, пересохший, клей уже не держал.

Сверху лежала записка. Лист из блокнота в клетку, сложенный пополам.

*Сашка. Это не завещание, не пугайся. Просто я не знаю, кому ещё. Посмотри, когда будет время. Не сразу. И не показывай М. Д.*

М. — это Майя. «Не показывай М.» Даша поссорилась с Майей пять лет назад, когда разводилась. Подробностей я не знала, знала только, что был какой-то разговор, после которого Даша перестала отвечать на звонки и фонда, и Майи, и вообще всех нас. Майя никогда об этом не рассказывала, и я не спрашивала. Это было их дело. Записку я положила на край стола.

Под ней были фотографии.

Их было много, штук шестьдесят или семьдесят, старые, бумажные, перехваченные аптечной резинкой, которая лопнула, когда я попыталась её снять. Я разложила их на столе. Почти все — наши. Пречистенка: сад, беседка, лестница с чугунными перилами, наша комната с двумя кроватями и общим шкафом, на дверце которого Даша нарисовала фломастером череп, и его потом три дня не могли отмыть. Валдай: озеро, причал, сосны, деревянная веранда, на веранде — длинный стол, за столом мы в одинаковых белых футболках, двенадцать девочек, и в центре Майя, молодая, в соломенной шляпе, читает нам вслух. Я нашла себя: третья слева, коленки подтянуты к подбородку, рот приоткрыт. Мне лет тринадцать. Я смотрю на Майю. Даша сидит с краю, отвернувшись от стола, и смотрит прямо в камеру, прищурившись, без улыбки, с таким видом, будто знает про фотографа что-то, чего он сам о себе не знает.

На обороте Дашиной рукой, карандашом: *Валдай, 2003. Смена «Тургенев». Майя читает «Первую любовь». Не самый удачный выбор, если подумать.*

Я засмеялась. Вслух, одна, в пустой мастерской.

Я стала переворачивать фотографии одну за другой. Почти на всех на обороте были пометки. Даты, места, имена. *Пречистенка, 2001. Ада Борисовна учит нас есть артишок. Зачем???Флоренция, 2006. Уффици. Сашка полчаса стоит у Боттичелли и плачет, а я хочу в туалет.Пречистенка, 2005, мой день рождения. Е. А. дарит мне книгу. Какую — не помню. Стыдно.Валдай, 2004. Майя и Катя. Катя ещё не вышла замуж. Катя ещё смешная.*

На одной фотографии не было никого. Только наш сад на Пречистенке, зимой, в снегу, и в глубине — старый особняк с жёлтыми окнами. Снято, наверное, с улицы, через ограду. На обороте было одно слово, написанное не карандашом, а чернилами, тщательно, печатными буквами, как пишут слово на чужом языке, которое боятся переврать:

*ēþel*

Я знала английский, немецкий, французский, читала по-итальянски. Этого слова я не знала. Буква «þ» — «торн», старая руна, читается как «th»; в английском её уже лет пятьсот как не пишут. Чёрточка над «е» — знак долготы. Что-то древнеанглийское. Я прочитала слово вслух и услышала: «Этель». Это было похоже на Дашу: написать название фонда так, будто это древнее слово, и подписать им наш сад. Она увлекалась всем на свете на две недели — рунами, каббалой, йогой. Надо будет посмотреть в словаре, подумала я.

Я отложила фотографию в сторону. Потом взяла её снова и положила отдельно, рядом с запиской.

* * *

Под фотографиями лежали анкеты.

Я узнала их сразу — по бумаге. Плотная, чуть желтоватая, с тиснёным клевером в левом верхнем углу. Такие анкеты мы заполняли в Доме каждый сентябрь, первого числа, после линейки. Это была традиция, такая же, как пирог с яблоками на Покров и концерт на Масленицу. Майя раздавала листы, и мы садились в библиотеке за длинный стол и писали, не торопясь, сколько хотим. Вопросы каждый год были одни и те же. *Мой любимый писатель. Моя любимая музыка. Чего я боюсь. Что я люблю больше всего. Что я буду делать через год. Какой я буду в тридцать лет.*Потом Майя собирала листы и уносила, и мы никогда больше их не видели. Она говорила, что хранит их для нас и что когда-нибудь, когда нам будет тридцать, отдаст каждой её анкеты, и мы посмеёмся. Когда мне исполнилось тридцать, она не отдала, а я не напомнила. Забыла.

Здесь их было штук десять. Дашины — я узнала почерк. И мои.

Мои.

Я взяла лист. *Морозова Александра, 12 лет. 1 сентября 2002 г.*

*Мой любимый писатель: Чехов. (И ещё Дюма, но это не считается.)*

*Моя любимая музыка: Шопен, ноктюрны. Особенно тот, который играла Майя на Новый год.*

*Чего я боюсь: темноты в подвале. И что мама меня не узнает, когда мы встретимся.*

Я положила лист на стол лицом вниз, посидела, потом перевернула и стала читать дальше.

*Что я люблю больше всего: когда все дома и пахнет пирогом.*

*Что я буду делать через год: учить итальянский.*

*Какой я буду в тридцать лет: у меня будет дом с садом и двое детей, мальчик и девочка. Я буду реставратором или искусствоведом. Мой муж будет добрый и немножко грустный, и я буду его смешить.*

Я перечитала последнюю строчку три раза.

Потом взяла анкету за следующий год, тринадцать лет, — тот же вопрос, почти тот же ответ: дом, сад, двое детей. Четырнадцать — дом, сад, двое детей, «буду работать в музее». Пятнадцать — «не знаю, может быть, уеду в Италию». Шестнадцать — «дом. Не знаю. Наверное, дети».

Дом с садом. Мальчик и девочка. Муж, добрый и немножко грустный. Я не помнила, что писала это. А всё сбылось — до мелочей, до грусти.

А потом я подумала: ну и что? Что ещё может написать двенадцатилетняя девочка-сирота, которая живёт в чужом доме, пусть даже в прекрасном чужом доме? Она напишет: у меня будет свой дом. Свой сад. Свои дети. Это пишет каждая. Я взяла Дашину анкету — двенадцать лет, годом раньше, — чтобы проверить, и прочитала:

*Какой я буду в тридцать лет: лётчицей. Или никем. Лучше никем, никем проще.*

Я засмеялась второй раз. Не так громко.

Дашины анкеты тоже менялись. В тринадцать: «буду жить одна в Париже и курить». В четырнадцать: «не скажу». В пятнадцать: «замужем, наверное, как все. Ха-ха». В шестнадцать — пусто. Только прочерк, длинный, жирный, с нажимом, чуть не порвавший бумагу.

Как эти листы попали к Даше? Майя хранила их в фонде. Значит, Даша их взяла. Попросила? Или взяла сама, без спроса? Это было бы на неё похоже. В четырнадцать она так аккуратно вскрыла шкаф завхоза, что никто не заметил, а конфискованный у неё плеер потом месяц лежал у меня под подушкой.

* * *

Дальше были письма.

Письма Майи к Даше. Я узнала почерк: округлый, учительский, с длинными петлями у «у» и «д». Пять писем, все за 2019 год, все в конвертах, некоторые невскрытые. Я не стала читать невскрытые. Открыла одно, уже вскрытое, — май девятнадцатого.

*Дашенька. Я не знаю, прочтёшь ли ты это, но я буду писать, пока не ответишь. Мы не сердимся. Никто не сердится. Ты сделала то, что должна была, и сделала правильно, и Е. А. тоже так считает, хотя тебе может показаться иначе. За девочек, которые придут после тебя, — спасибо. Тебе сейчас кажется, что тебя обманули. Тебя не обманывали, Даша. Тебе никогда никто не лгал. Ты просто устала, и ты одна, и тебе страшно. Возвращайся, когда сможешь. Мы тебя ждём. Тимоше — от меня. М.*

Я положила письмо обратно в конверт.

Даша разводилась в девятнадцатом. «Ты сделала то, что должна была» — значит, развод. Майя её поддерживала. А «за девочек, которые придут после» — значит, после развода она что-то перевела фонду. Очень на неё похоже: швырнуть деньги и хлопнуть дверью. «Тебе кажется, что тебя обманули» — Салтыков? Салтыковы? Наверное, Даше казалось, что её обманул муж. Это было нормальное письмо, доброе, материнское, какое Майя могла бы написать и мне, если бы я развелась. Я представила, как Даша получает эти письма и не вскрывает, — гордая, злая, одинокая, — и мне стало больно за них обеих.

На самом дне коробки лежала тонкая картонная папка, серая, с завязками. Обычная канцелярская папка, «Дело №», какие продают в любом магазине. В ней было три листа.

Первые два — ксерокопия. Машинопись, не очень чёткая: копию снимали с копии, буквы расплылись, местами пропечатался фон. Столбец фамилий, справа — даты. Ни заголовка, ни шапки, ни печати, ни подписи. Просто список, словно вырванный из середины чего-то большего.

Я стала читать.

*АБРАМЦЕВЫ — 03.1998*
*МЕЛЬНИКОВЫ — 09.2007*
*ГУРВИЧ — 11.1996*
*ЗИМИНЫ — 05.2003*
*КОРФ — 04.2011*
*ЛАНСКИЕ — 02.2010*
*МИРСКИЕ — 10.2008*
*РЕМЕЗОВЫ — 06.2005*
*САЛТЫКОВЫ — 01.2008*
*ВОРОНОВЫ — 09.2004*
*НОВИКОВЫ — 12.2003*

Фамилий было тридцать четыре. Я пробегала их глазами, и некоторые ничего мне не говорили — Абрамцевы, Зимины, ещё несколько, — а некоторые говорили слишком много. Мельниковы. Вороновы. Новиковы. Ланские. Корф. Мирские. Салтыковы.

На втором листе, ближе к концу:

*ВЕЙН — 11.2009*

Я положила лист на стол и выпрямилась.

Ноябрь две тысячи девятого. Мне было девятнадцать. С Семёном мы познакомились в сентябре двенадцатого — почти на три года позже. Ни в две тысячи девятом, ни в десятом, ни в одиннадцатом я его не видела, не слышала его фамилии, не знала, что существует такая семья: Вейны, «РузМакс», Николино. То есть, наверное, слышала — фамилия была известная, — но не запоминала.

Я снова взяла лист и посмотрела его на свет. Обычная офисная бумага, восемьдесят граммов, никаких водяных знаков. Ксерокопия, и не первая: тонер зернистый, края букв поплыли, так бывает, когда копируют с копии на старом аппарате. Ничего это не значило.

Список фамилий. Многие — фамилии мужей наших девочек. Даты — разные, с девяносто шестого по одиннадцатый. Что это может быть? Список попечителей. Список гостей на каком-то приёме. Список жертвователей с датами первых пожертвований. Список семей, которым фонд рассылал приглашения на вечера. Фонд жил на пожертвования, у фонда был попечительский совет, и, конечно, у фонда были списки — кто, когда, сколько. Мельниковы — попечители, я точно знала. Вороновы — тоже. Новиковы каждый год давали деньги на летний лагерь. И Вейны тоже помогали: Семён каждый год переводил деньги, и Софья Львовна сидела в попечительском совете, давно, сколько я себя помнила в этой семье.

Значит, это список попечителей. Значит, это даты, когда они впервые что-то дали. Значит, Вейны впервые что-то дали фонду в ноябре девятого года. Это легко проверить. Можно спросить у Софьи Львовны.

Я сидела и чувствовала, как отпускает — по сантиметру, как отпускает затёкшую ногу.

Конечно, это совпадение. Девочки из фонда выходили замуж в семьи попечителей — потому что где ещё им было встретить этих мужчин? На вечерах фонда, на благотворительных аукционах, на выставках, которые фонд устраивал вместе с музеями. Это был круг. Это не заговор. Даже логично. Даже, если подумать, трогательно.

Только я познакомилась с Семёном не на вечере фонда.

Третий лист в папке был пустой. Чистый лист той же офисной бумаги, без единой буквы. Я повертела его, посмотрела с обеих сторон, на просвет — ничего. Лампу можно было опу-

стить к самому столу и посмотреть лист в косом свете — так я смотрю каждый лист, который мне приносят. Я не стала. Зачем Даша положила в папку пустой лист? Может быть, случайно. Может быть, чтобы папка не казалась такой тонкой. Может быть, она собиралась что-то написать и не написала.

Я сложила всё обратно: список, пустой лист, папку. Письма Майи — в конверты. Анкеты — стопкой, мои отдельно, Дашины отдельно. Фотографии — в коробку, все, кроме одной, со словом «ēþel» на обороте; её я положила в ящик своего стола, под стопку японской бумаги.

Потом я заметила, что на дне коробки, в углу, под отогнутым картонным клапаном, лежит что-то ещё. Маленькое, твёрдое, завёрнутое в бумажную салфетку.

Я развернула салфетку.

Это был Дашин кулон. Серебряный листок клевера, четыре листа на одном стебле, на тонкой цепочке, которая спуталась в комок. Точно такой же, как мой. Я перевернула его, хотя знала, что увижу: на обороте у всех наших кулонов было выгравировано крошечное число, такое мелкое, что без лупы не разглядеть. Номер, сказали нам, когда вручали: каждый кулон сделан на заказ, и у каждого свой номер, как у картины в каталоге. Я никогда не смотрела на свой. Он был просто мой.

Я поднесла Дашин кулон к лампе с увеличительным стеклом.

*24.*

Я сидела, держа на ладони холодный серебряный листок, и думала о том, что Даша сняла его не пять лет назад, а летом — потому что коробку она собрала летом. Сняла и положила на дно коробки для меня. Не выбросила, не продала — завернула в салфетку. И написала на крышке: «не реви».

Я не ревела. Я сидела в мастерской, в круге света от лампы, а за окном уже стемнело, и в стекле отражалась я сама — маленькая, сгорбленная над столом, с чужим кулоном в руке. Потом хлопнула входная дверь, Миша закричал из прихожей: «Мам, мы выиграли!» — и я спрятала кулон в карман, выключила лампу и пошла встречать сына.

*Коробка*

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.